Константин Фрумкин

Загадка мещанства

Социологические заметки на полях русских пьес.

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

Константин Фрумкин

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии, журналист.

1

Иногда одно слово становится важнейшим маркером целой эпохи или, по крайней мере, социально значимой ситуации.

Театр А. Н. Островского сделал в русской культуре популярными и даже незаменимыми такие слова, как “самодур” и “самодурство”. Самодурство (разумеется, не слово, а стоящий за ним феномен) традиционно не вызывает большой симпатии, возможно, прежде всего потому, что хотя оно и является проявлением страсти, но это не те взрывы гнева или отчаяния, которые в русской драме демонстрируют угнетаемые и вызывающие сострадание персонажи. Самодурство нельзя назвать внезапным проявлением чувства, которое до этого сдерживалось. Купцам у Островского в силу их привилегированного социального положения нет нужды сдерживаться, поэтому их страсти, в отличие от страстей “маленького человека” Акакия Акакиевича, не обладают “кумулятивным эффектом”. Психическая динамика “маленького человека” развивается по схеме “накопление — взрыв”, в то время как у купцов   
Островского чувства не успевают накапливаться, их самодурство являет собою как бы “факел”, на котором сжигаются избытки психической энергии. Тем не менее купцы Островского — люди сильных страстей, поскольку они чрезвычайно внимательны к своим малейшим желаниям, и любая прихоть превращается для них в непреодолимую страсть.

Есть, как минимум, две причины, по которым прихотливая купеческая вспыльчивость может вызывать и интерес и даже определенную симпатию. Во-первых, сама непредсказуемость “самодурства” создает вероятность резкого изменения сюжета пьесы, в том числе и в сторону, благоприятную для “положительных героев”. Именно так происходит в таких драмах Островского, как “Бедность не порок” и “В чужом пиру похмелье”, — в них внезапная, никем не ожидаемая перемена настроения купца приводит к тому, что он круто меняет решение по поводу брака своих детей. В одной драме купец позволяет дочери выйти замуж за бедного приказчика, в другой приказывает сыну свататься к дочери бедного учителя. В драме “Лес” актеру Несчастливцеву удается задеть за живое купца Восьмибратова, и тот из куража возвращает деньги, которые только что получил обманом.

Во-вторых, самодурство представляет собой угрозу для социального положения самого купца: под влиянием страстей и прихотей он может разориться, выпасть из своего сословия, а это значит, что он может приобрести привлекательность для драматургии, в которой эстетическая значимость приобретается только ценою болезненной утраты социальной нормальности.

То, как сильный характер может разрушительно действовать на социальную роль, применительно к купцам в полной мере показано М. Горьким. Литературовед   
Б. А. Бялик говорит о “целой галерее горьковских купцов, “выламывающихся” из своего класса или хотя бы выходящих на время из равновесия, из привычной колеи буржуазного бытия”.

У Островского эта возможность только намечена, хотя, пожалуй, отчасти можно говорить о ее реализации в пьесе “Свои люди — сочтемся”. Пьеса, выражаясь современным языком, повествует о неудачной попытке фиктивного банкротства. В начале пьесы купец подходит к этому проекту довольно расчетливо, однако дальше его начинает “заносить”: под влиянием впечатлений от банкротства других купцов он разочаровывается в торговле вообще, и его банкротство приобретает характер  
своеобразного кутежа, в котором желание не платить перевешивает здравый расчет. Большов говорит: “Да я уж лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам. Перевози товар, продавай векселя; пусть тащат, воруют, кто хочет, а уж я им не плательщик”. Маховик страсти раскручивается, и Большов в конце концов внезапно отдает все свое имущество, а заодно и дочь, своему приказчику и, конечно же, оказывается им обманут. Но именно поэтому к финалу пьесы он становится почти трагической фигурой, так что литературоведы даже начинают его называть “купеческим королем Лиром”, — эту славу можно считать некой компенсацией за перенесенные страдания.

Обширные, теперь уже полуторавековые обсуждения феномена “самодурства” в критике и литературоведении оставили неразрешенной социологическую проблему, на которую авторы все время натыкались, но которую старательно обходили: в какой степени самодурство и вообще выявленные Островским недостатки купеческого сословия связаны с обычаями народа, при том что сами купцы считаются выходцами из народной среды?

Островский подчеркивает связь купечества с крестьянством, особенно в первый период своего творчества, когда он был близок к кругу славянофилов, считавших купеческую жизнь выражением жизни народной. Островский “славянофильского” периода был близок к славянофильскому журналу “Москвитянин”, а москвитянинцы считали, что быт купечества, огражденного своим капиталом от прямого насилия, сохраняет исконные обычаи и начала национальной морали, в наибольшей степени проникнут традициями народной этики и народной эстетики. Сам Островский давал московскому купечеству середины XIX века вполне недвусмысленную характеристику: “Богатеющее купечество было по своему образу жизни и по своим нравам еще близко к тому сословию, из которого вышло… Сами крестьяне или дети крестьян, одаренные сильными характерами и железной волей, эти люди неуклонно шли к достижению своей цели, то есть к обогащению, но вместе с тем так же неуклонно держались они и патриархальных обычаев своих предков”.

По этой логике нравы купцов должны быть выражением нравов крестьянства в чистом, очищенном от внешнего вмешательства виде, но это означает, что пресловутое “самодурство” должно быть оправдано, что и произошло под пером младших современников Островского. В XIX веке современные Островскому (теперь почти забытые) драматурги так называемой купеческой школы часто относились к самодурству скорее доброжелательно, поскольку рассматривали свойственное купцам сознание силы своего капитала как проявление народности. Например, в пьесах   
А. Красовского купец-самодур — скорее положительный образ, и его пьяный гнев оказывается эквивалентом справедливого возмездия, настигающего отрицательных персонажей-дворян.

Оценка купцов у Островского объективно не может не быть двойственной. Если социологически и этнографически невозможно отрицать связь купечества с крестьянством и вообще с традиционным миром, то политэкономически также невозможно отрицать, что купцы являются орудиями распространения капиталистических отношений, а капитализм, как мы знаем, есть сила, разрушающая традиционный мир.

Купечество у Островского, безусловно, связано с народными традициями, с крестьянством: в драме “В чужом пиру похмелье” купец говорит, что он мальчиком приехал в город из деревни, однако “самодурство” является купеческим, нехарактерным для крестьянства феноменом. Народная традиция воспринимается как система мировоззренческих и ритуальных ограничений, а значит, по самому своему смыслу она является чем-то противоположным личной необузданности.

Своей наглядности эта странная двойственность достигает в пьесе Островского “Гроза”, где есть два главных отрицательных персонажа — Кабаниха и Дикой, являющиеся одновременно и “близнецами”, и “антагонистами”. С одной стороны, Дикой и Кабаниха — это “почти одно и то же”, оба входят в лагерь “угнетающих”, отрицательных персонажей и являются представителями “диких нравов” города Калинова, оба представляют богатое купеческое сословие этого города, оба типичны для него. Но при всей тождественности социальных и даже сюжетных ролей их поведение не просто различно, а противоположно. Дикой как бы воплощает само понятие самодурства: он буен и дик до грани безумия, его поведение не обременено никакими требованиями здравого рассудка. Кабаниха, наоборот, воплощает традиционный мир в его ритуальной зарегулированности. Если бы русские обряды и традиции были кодифицированы, Кабаниха была бы настоящим “талмудистом в юбке”.

Ответ на эту социологическую загадку, по-видимому, заключается в том, что выработанные народом — то есть исходно крестьянством — традиции предназначались для регулирования самых разных сторон жизни — и прежде всего семейной, брачной, — но только не индивидуальных иррационалистических импульсов. Соответствующие регулятивные нормы поведения не были выработаны веками просто потому, что в условиях крестьянского быта индивидуальность была подавлена силою феодалов-землевладельцев, государства, общины, но самое главное — жесточайшей материальной нуждой. Необходимость борьбы за выживание сопрягает чрезмерные отклонения от рационального поведения с риском для жизни. В этих условиях потребности в выработке каких-то дополнительных неписаных правил подавления индивидуальных импульсов просто не возникало.

Однако все меняется, когда крестьянин переезжает в город и становится купцом. Капитал ограждает его и от прямого насилия со стороны феодальной знати и полицейских чинов, и от повседневной борьбы за существование, и заодно от контроля со стороны соседей — общины. Кабаниха в “Грозе” объясняет странное поведение Дикого очень просто: “Нет над тобой старших, вот ты и куражишься”. С собой в город купец приносит из деревни сложную сеть традиционных правил и норм, но эта сеть не “улавливает” его самодурства, поскольку оно для нее еще как бы не существует, крестьянская система саморегуляции поведения еще не знакома с этим явлением. Это состояние можно сравнить с отсутствием инстинктивных биологических сдержек при поглощении пищи. В условиях дикой природы потребности сдерживаться у животных нет, поскольку единственной действительной проблемой является голод. В условиях постоянной опасности голодной смерти просто не мог возникнуть биологический или этологический механизм, предохраняющий животное от опасности ожирения. И это приводит к тому, что в условиях городской цивилизации и люди, и домашние животные теряют всякую умеренность в еде, зарабатывают ожирение и прочие болезни.

Нормы традиционного общества даже помогают самодурству, поскольку для него в традиционном обществе есть подходящая ниша — место главы патриархальной семьи, то есть место полновластного монарха в своей семье; недаром Островский в пьесе “Не все коту Масленица” сравнивает купцов-домохозяев с турецкими султанами. В условиях крестьянской общины потенциал тиранства, заложенный в статусе главы семейства, не мог проявиться в полную силу ввиду тех ограничений, о которых мы сказали выше: даже жестокий по отношению к домочадцам бедный крестьянин, скорее всего, вынужден подчинять свою жестокость необходимости выживания, а не прихоти. Между тем “самодурство” купцов Островского поражает даже не жестокостью, а мелочностью и непредсказуемостью. Кстати, с этой точки зрения различие в поведении Дикого и Кабанихи в “Грозе” во многом объясняется просто их половыми различиями: оба они “знают”, что в традиционной патриархальной семье мужчина является абсолютным монархом, а женщина находится не только в его власти, но и в плену регулятивных норм поведения, которые Кабаниха все время навязывает Катерине и которые она сама, оказавшись главой семьи, “персонифицированно” воплощает.

Капитализм разрушает традиционное общество, и мы даже можем выдвинуть гипотезу, что “самодурство” (то есть индивидуальные прихоти) является одним из тех орудий, с помощью которых традиция разрушается: капитализм дает свободу индивидуальности (на первых порах — хотя бы только индивидуальности главы семейства), а традиционные регулятивные нормы с этой свободой не борются. Среди литературоведов к этой мысли пришел Н. Н. Скатов, отметивший, что, вопреки традиционным толкованиям, самодурство купцов Островского является не выражением патриархальных устоев, а свидетельством их утери, выражением личного эгоизма. А крупнейший русский театральный критик первой половины ХХ века   
А. Р. Кугель считал, что самодурство — это выражение “анархического индивидуализма”. Таким образом, изображенное Островским “самодурство” можно рассматривать как самое первое, грубое и несущее в себе черты более ранних укладов проявление буржуазного индивидуализма.

Крестьянин, приехавший в город, испокон веку и до наших дней представляет собой проблематичную фигуру, источник многочисленных социальных инцидентов. Но рано или поздно жизнь в городе должна “обломать” склонных к буйству вчерашних крестьян. Так возникают чисто городские нормы поведения, и так, собственно говоря, возникает мещанство.

II

В театре Островского мы можем наблюдать два основных культурно-психологических состояния человека — традиционность и образованность. Еще Герцен подчеркивал, что Островский “избрал предметом своих произведений социальный слой, лежащий ниже образованного общества”. Здесь важен именно дуализм, который был очевиден и для Островского, и для Герцена, и для всех зрителей XIX века: с одной стороны, есть “образованное общество”, с другой — некий “социальный слой, лежащий ниже”. В этом “низком слое” — люди самого разного положения, но, с точки зрения “образованного общества”, главное в них — отсутствие образованности, которое (правда, отчасти) компенсируется близостью к народным традициям.

Традиционность характерна для простонародья и купцов, которые, как часто подчеркивает драматург, являются выходцами из крестьян (иногда в первом поколении), образованность — достояние интеллигенции, дворянской или разночинской. Человеческое поведение может регулироваться либо традициями, идущими из седой древности, из народной гущи, — короче, из “почвы”, либо идеалами европей-  
скими, западными, интеллектуальными. У Островского есть чисто купеческие пье-  
сы — вроде “Бедность не порок”, есть пьесы об образованных людях — вроде “Доходного места” или “Волков и овец”, и есть, наконец, пьесы о столкновении образованного человека с миром купцов. Для мещанства, городских ремесленников и мелких торговцев, то есть необразованного, но исконно городского, давно торвавшегося от крестьянства слоя, в этой системе нет места. Не только с точки зрения славянофилов, к которым исходно был близок Островский, но и с точки зрения традиционного русского противостояния славянофилов и западников мещанство оказывается слоем как бы лишним, лишенным какой бы то ни было основы, равно далеким и от почвы, и от небес. Уже оторвавшееся от народных традиций, мещанство не приобрело европейской образованности, и поэтому как для славянофилов, так и для западников оно оказывается неинтересным и как бы незаконным.

Правда, огромный социальный слой не мог бы существовать, вообще никак не регулируя свое поведение, но происхождение этих регулирующих норм кажется русской литературе каким-то недоразумением. Это действительно самодеятельность человека — человека срединного, живущего между небом и землей и пытающегося построить свою жизнь действительно самостоятельно, не используя влияния богов небес и земли, то есть не глядя ни на европейские (книжные), ни на национальные (народные, крестьянские) образцы.

Островский мещанства как особой среды, можно сказать, не видит, хотя отдельные персонажи-мещане у него есть, и очень характерно, что зачастую они выступают как поведенческие “антитезы” купцам-самодурам. Например, в комедии “Старый друг лучше новых двух” главной героиней является мещанка-швея, которая мечтает выйти замуж за чиновника. Чиновник ведет разгульную жизнь, шляется по кабакам, и объясняется это отчасти и тем, что по службе он постоянно имеет дело с купцами, купец является и постоянным товарищем чиновника по пьяному разгулу. А невеста-мещанка мечтает, что сможет обуздать своего будущего мужа и привести его в “рамки”.

Еще более известный пример противостояния “смирных” и “правильных” мещан купцам-самодурам можно увидеть в двух сюжетно близких пьесах: комедии “Горячее сердце” и драме “Гроза”. В первой мещанин Аристарх противостоит самодуру Хлынову, во второй мещанин Кулигин — самодуру Дикому. В обеих пьесах правильные во всех отношениях, почти идеальные мещане являются обличителями купеческого, а следовательно, крестьянского самодурства: в “Горячем сердце” прямо говорится, что Хлынов — из крестьян, а мещанин Аристарх называет его не иначе как “безобразный”. Характерно, что в обеих пьесах Аристарх и Кулигин являются часовщиками, механиками-самородками и вообще людьми трезвого и сбалансированного поведения. Впрочем, еще важнее, что оба они являются самоучками. То есть, оторвавшись от народных традиций, эти выдающиеся городские жители сооружают какую-то свою, доморощенную образованность, и это действительно образованность — сделанная своими руками, а не данная “сверху”, от книжных и европейских образцов.

Подробно мир мещан изобразил Горький, прежде всего в двух пьесах — “Мещане” и “Дачники”. В обеих пьесах мещанство выступает как некая истинная сущность персонажей, которые в иных условиях могли бы оказаться и представителями другого сословия. В “Мещанах” мы видим богатого человека, который был бы купцом, если бы не был мещанином. В “Дачниках” мы видим представителей интеллигенции, которые, как выясняется, на самом деле недостойны этого звания, поскольку являются в душе мещанами.

Но в чем специфика мещанства? Ответить на этот вопрос можно только сопоставляя это среднее сословие с социальными полюсами, то есть с двумя классическими сословиями театра Островского — купечеством и интеллигенцией.

Почему главный герой горьковских “Мещан”, старшина малярного цеха Бессеменов не является купцом? Формально говоря, только в силу юридической традиции царской России, по которой владельцы ремесленных мастерских, даже обладающие достаточным капиталом, к сословию купцов не приписывались. Но Бессеменов, вероятно, потомок нескольких поколений городских жителей, и в силу этого он несет на себе родовое бремя выработанных поколениями жизни в городе мещанских добродетелей — умеренности и аккуратности, недаром он произносит настоящий гимн этому качеству: “Аккуратностью весь свет держится… само солнце восходит и заходит аккуратно, так, как положено ему от века… а уж ежели на небесах порядок, то на земле — тем паче жить должно…” Но для русских драматургов и вообще для русских писателей умеренность и аккуратность вовсе не являются добродетелями, скорее даже наоборот. Купец Островского — приехавший в город крестьянский сын, богатый Бессеменов — давний потомок городских жителей, носитель выработанного ими сбалансированного саморегулирования поведения, практичного, но не освещенного ни образованностью, ни традицией, ни религией и не дающего выхода творчеству или склонности к авантюрным предприятиям.

В “Мещанах” Горького Бессеменов занимает в своем доме то же самое место, что и купец Островского, — это полновластный монарх, но он по своему складу мещанин, а не купец, и ему не свойственны буйство, самодурство и злоупотребление своей абсолютной властью. Если самодурство и хвастовство своим капиталом — признак народности, то мещанин не народен в том смысле, что он уже не похож на недавно приехавшего в город и недавно разбогатевшего крестьянина. Бессеменов в “Мещанах” не борется с людьми, которые ему не нравятся, не прогоняет их из дому, а только раздражается, сердится, ругается и обиженно удаляется в свою комнату.

Мещанин Бессеменов является отрицательным персонажем, возможно, именно потому, что в его “мещанском”, зарегулированном приличиями мире нет места для неконтролируемых, нарушающих все приличия и рамки вспышек гнева, отчаяния или иной страсти. В некотором смысле драматург не должен любить “мещанина”, поскольку такие вспышки страсти движут действие пьес, а мещанин с идеально отрегулированным поведением оказывается “адраматичным”, он не порождает сюжета и не движет его.

Для того чтобы понять, в чем специфичность поведения Бессеменова, его стоит сравнить с Ванюшиным — персонажем пьесы Найденова “Дети Ванюшина”. Пьеса Найденова появилась на несколько лет раньше “Мещан” и является своеобразным двойником, если не источником драмы Горького. На сходство двух этих драм литературная критика обратила внимание сразу же после их постановки, причем общее мнение рецензентов заключалось в том, что обе пьесы построены вокруг тургенев-  
ской проблематики “отцов и детей”. Сходство между ними не ограничивается общей проблематикой — даже беглый взгляд обнаружит в двух пьесах целую систему параллелизмов, делающую их чуть ли не двумя изводами одного сюжета.

В драме Найденова, как и в “Мещанах”, действие происходит в богатом доме и только в нем — дом оказывается для персонажей чем-то вроде маленькой вселенной. И в “Мещанах”, и в “Детях Ванюшина” основная сюжетная коллизия заключена в сложных взаимоотношениях главы дома со своими детьми — известный театровед Ю. Юзовский отмечал, что по аналогии с “Детьми Ванюшина” пьесу Горького можно было бы назвать “Дети Бессеменова”. Кроме проблемы “отцов и детей”, в обеих пьесах присутствует также проблема выбора этими детьми своих жен и мужей. Старший сын Бессеменова Петр, слабохарактерный, но с задатками карьериста, вполне аналогичен старшему сыну Ванюшина Константину, обладающему примерно такими же качествами. Петр исключен из университета и помогает отцу — Константин отказался от поступления в университет, чтобы помогать отцу. Воспитанник Бессеменова Нил уходит из дома, — но точно так же уходит из дома младший сын Ванюшина Алексей. Отдельной проблемой является то, что в обеих пьесах старший сын сожительствует с квартирующейся в доме женщиной. Жены глав семейства в обеих драмах — набожные, слабохарактерные и бесконечно любящие детей женщины — выглядят почти близнецами.

В обеих пьесах тема “отцов и детей” дана через проблематику вырождения, и в обеих пьесах главные герои — главы семейств — произносят монологи о том, как они беспокоятся за судьбу своих детей, видят их неполноценность. Можно сказать, что “Мещане” и “Дети Ванюшина” почти идентичны друг другу, но за одним важным исключением. “Мещане” — пьеса о мещанской среде, а “Дети Ванюшина” — о купеческой. Это различие вполне соответствует происхождению самих драматургов: Найденов был выходцем из купеческой семьи, в то время как Горький, как известно, воспитывался своим дедом, владевшим, подобно Бессеменову, ремесленной мастерской.

Если Бессеменова уже в наше время стали называть “мещанским королем Лиром”, то Ванюшина Кугель называет “королем Лиром из купеческого сословия”. Бессеменов из “Мещан” — старшина малярного цеха, Ванюшин у Найденова — владелец магазина, и, видимо, крупного (в пьесе идет речь о 50 приказчиках).

Для европейцев это различие не так значительно; возможно, во французской литературе наше “мещанское” и “купеческое” слились бы в единое понятие “буржуазного”. Но в России мещанство и купечество — традиционные сословия, долгое время развивавшиеся параллельно и потому имевшие специфические физиономии, что, впрочем, не мешало русским писателям использовать слово “мещанство” в широком смысле как синоним буржуазности и “собственнических инстинктов”.

Горьковский Бессеменов — мещанин не только в широком, но и в строгом смысле слова, а найденовский Ванюшин — купец. Бессеменов ходит в церковь, но религия является для него скорее формальностью; Ванюшин не просто посещает церковь, а использует религию как опору в тяжелую жизненную минуту. Он рыдает в исповедальне на весь храм, просит жену молиться, а причастие становится для него моментом просветления, позволяющим примириться с младшим сыном. Бессеменов раздражается, Ванюшин бранится и держит домашних в страхе. “Мещане” формально не кончаются ничем, “Дети Ванюшина” кончаются самоубийством главного героя. Иными словами, главный герой пьесы Найденова оказывается способным на страсти, которые, как мы знаем, являются характерными именно для “купеческой” драматургии; причем только в “купеческой” драматургии такие страсти являются реалистическим, а не романтическим или мелодраматическим элементом.

III

Тему и название драмы Горького “Дачники” очень любят сопоставлять c фразой Лопахина из драмы Чехова “Вишневый сад”: “До сих пор в деревне были господа и мужики, а теперь появились еще и дачники”. В интересующем нас отношении господа и мужики — это представители тех двух стихий, народной традиционности и европейской образованности, которые занимали доминирующее положение как в театре Островского, так и в традиционных полемиках славянофилов с западниками. Но вот на театральной сцене между “господами” и “мужиками” появляется средний, “незаконный” слой.

Прежде всего герои Горького — это интеллигенты в первом поколении, при этом (что очень важно) они являются выходцами из городских низов, их социологиче-  
ский аналог в “Вишневом саде” — студент университета Трофимов, сын аптекаря. Если купцы Островского — вчерашние крестьяне, то интеллигенты в “Дачниках” — вчерашние мещане. И если купцы Островского принесли с собой в город природную, нетронутую культурой необузданность, то герои “Дачников” являются каналами передачи в среду образованного сословия свойств мещанства, но эти свойства имеют не положительный, а скорее отрицательный характер. Сопоставляя купечество с мещанством, мы говорили, что мещанство интересно тем, что научилось сдерживать свои эмоциональные импульсы. В “Дачниках” Горького мещанство свежеиспеченных интеллигентов проявляется не в том, что они делают, а в том, чего они не делают. Горький упрекает своих героев в отсутствии добродетелей, которыми теоретически должна обладать интеллигенция — прежде всего дворянски ориентированная интеллигенция. Мещане обвиняются в мелком эгоизме, в нежелании отдаться идеалу, сопереживать общественным вопросам, заниматься чем-то сверх своих личных интересов, то есть в отсутствии аристократизма, высшим образцом которого, вероятно, могли бы служить декабристы. Если купцы Островского безрассудно растрачивают свои силы, здоровье и деньги, то мещане-интеллигенты Горького аморально и опасливо экономят свои силы. Главный идеолог мещанства в “Дачниках” архитектор Суслов не ездит на ведущееся по его проекту строительство, в результате на стройке падает стена.

Отказ жить идеалами и общественными интересами Суслов объясняет именно происхождением из бедной среды: “Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины! Мы наволновались и наголодались в юности; естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть, пить, хочется отдохнуть... вообще наградить себя с избытком за беспокойную, голодную жизнь юных дней... Мы, говорю я, много голодали и волновались в юности... Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте — вот наша психология. Она не нравится вам, Марья Львовна, но она вполне естественна и другой быть не может! Прежде всего человек, почтенная Марья Львовна, а потом все прочие глупости... И потому оставьте нас в покое! Из-за того, что вы будете ругаться и других подстрекать на эту ругань, из-за того, что вы назовете нас трусами или лентяями, никто из нас не устремится в общественную деятельность... Нет! Никто!”

Занятие общественной деятельностью, к которому призывает положительный персонаж “Дачников”, Марья Львовна, — это естественное занятие дворян, тех самых “господ”, о которых говорил Лопахин в “Вишневом саде” и среди которых теперь начали жить непохожие на них “дачники”. “Господам” в отличие от “дачников” не надо вознаграждать себя за голодную юность. Фактически Марья Львовна упрекает “дачников” в отсутствии идеализма и бескорыстия, так свойственного дворянам “Вишневого сада”. Но этот идеализм — обратная сторона непрактичности, а в непрактичности мещанство упрекнуть нельзя.

Вчерашние мещане прекрасно себя чувствуют в роли интеллигентов, их переход в новое сословие не связан ни с какими эксцессами, чего не скажешь о “крестьянокупцах” Островского. Но интересно следующее. Принесенная в город купцами система традиционных крестьянских норм поведения не замечает таящуюся в каждой индивидуальности иррациональность, и это предопределяет описанный Ост-  
ровским феномен “самодурства”. Мещанские нормы поведения — знаменитые “мещанские добродетели” – с индивидуальной иррациональностью, с прихотями уже справились, но вот вопросы отношения к “идеалу”, к “общему”, “общественной жизни” остаются для мещанской системы норм поведения как бы в “слепой зоне”. Когда в царской России формировался слой потомственных городских жителей, вопросы какой бы то ни было общественной жизни если и стояли, то только перед дворянами, недаром первыми революционерами в России были дворяне. Проблема выработки отношения к таким абстракциям, как “общество в целом”, перед мещанами встать не могла, так же как перед зажатым в тисках нужды и необходимости крестьянством не могла встать проблема самоограничения индивидуальной свободы. Отношения индивидуума с общественными идеалами остались неурегулированными, и именно это порождает болезненный конфликт горьковских “дачников”.

В драме Горького мещанам-интеллигентам противопоставляются не только идейные интеллигенты, но и бывший фабрикант — купец Двоеточие, который до из-  
вестной степени является наследником купеческого самодурства: им движет индивидуальный, иррациональный импульс, выводящий его за пределы своего сословия. Оказавшись без дела, перед лицом тяжелого экзистенциального вызова, к концу пьесы Двоеточие решает пожертвовать свое состояние на строительство гимназии. Это решение вполне в духе русского купца, для которого — как это показывал Ост-  
ровский — характерны самые неожиданные, иногда самоубийственные порывы. Между прочим, это его решение оказывается серьезным ударом по интересам наследника — архитектора Суслова. Но Суслов не был бы мещанином, если бы стал предаваться по этому поводу какому-то чрезмерному “шекспировскому” отчаянию или гневу. Как и мещанин Бессеменов в “Мещанах”, он реагирует на потерю наследства только легкой неприязнью и раздражением.

Обратим внимание еще на один ранний случай изображения мещанства в русской драматургии.

IV

Пьесу А. Ф. Писемского “Горькая судьбина”, которая, вообще говоря, считается крестьянской драмой и действие которой разворачивается между помещиком и его крепостными, тем не менее можно считать пьесой о зарождающемся мещанстве. Главный герой “Горькой судьбины” Ананий Яковлев — крестьянин, который переехал в город и стал торговать. Однако он стал не крупным купцом, а разносчиком, то есть стал заниматься тем, чем, согласно классификации сословий того времени, занимаются мещане.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, как в русской драме и вообще в русской литературе освещается вопрос о культурном багаже мещанства. Разумеется, речь не идет о мещанах-интеллигентах из “Дачников”, которые добросовестно освоили европейскую, университетскую, для России исконно дворянскую образованность. Но каков культурный мир “настоящих” мещан?

Если мещане — это люди, не имеющие опоры ни в народной традиции, ни в высотах образования, но находящиеся на стыке двух мощных культурных стихий — традиции и образования, то можно предположить, что они будут питаться остатками с обоих “столов”. Иными словами, именно в силу своего срединного положения мещанству суждено быть местом “слива” наследия обоих миров — народа и европеизированной интеллигенции. В кругозоре мещанина можно найти следы и народных, и книжных влияний, но оба типа заимствований в мещанстве уже оторвались от своего источника и как бы умирают. Как писал В. В. Набоков, “мещанство возникает на определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться”. Культурный багаж мещанина — это одновременно и точка встречи традиций верхних и нижних классов общества, и место умирания и выхолащивания этих традиций. Лучшая иллюстрация этого — трилогия Островского о Бальзаминове. С одной стороны, Бальзаминов — скопище народных примет и предрассудков, он верит в сны; с другой — он иногда читает газеты, знает, что Наполеон вернулся с Эльбы, и даже не чужд поэзии, хотя роль поэзии для него выполняют напечатанные тексты старинных романсов про пастухов и пастушек. То есть в голове Бальзаминова уживаются и следы крестьянских предрассудков, и какие-то следы городской образованности; но обоим мирам Бальзаминов чужд, и от обоих миров он берет лишь разрозненные крохи.

Антисемитизм, характерный для семейства Бессеменовых в горьковских “Дачниках”, также, по-видимому, должен свидетельствовать о том, что в культурном отношении мещанство идет в арьергарде интеллигенции, подбирая за ней самые отсталые идеи. Особенность мещанства заключается в том, что это слой не необразованный, как крестьянство, а с отстающей образованностью; если так можно выразиться, это сословие догоняющего развития.

“Промежуточное” положение мещанства приводит к интересному социологиче-  
скому парадоксу: в драматургии XIX века мещане, стоящие в имущественном отношении на ступень ниже купечества, в отношении образованности, как это ни странно, часто изображаются стоящими на ступень выше, более того, мещанин часто выступает как просветитель купечества.

О гениальном мещанине Кулигине в “Грозе”, о столь же гениальном мещанине Аристархе в “Горячем сердце” мы уже сказали — все это не просто по-своему выдающиеся лица, но персонажи, чья незаурядность видна именно и исключительно на фоне купечества. Можно привести еще несколько примеров. В комедии Островского “Праздничный сон до обеда” речь идет о сватовстве чиновника Бальзаминова к купеческой дочери Ничкиной. Однако в пьесе действует и мещанка — подруга невесты Устинька. И функция у Устиньки весьма примечательна: она учит, как себя вести, жениха и невесту, учит их “образованному разговору”, причем даже с элементами феминизма, она требует деликатности, так что дядя невесты купец Неуеденов вначале даже ошибочно принимает Устиньку за дворянку.

Другой аналогичный пример мы находим в пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина “Смерть Пазухина”. В пьесе действуют в основном купцы, чиновники и военные. Тем не менее в первом действии появляется Никола Велегласный, о нем в списке действующих лиц сказано: “мещанин, пожилой”. В “Смерти Пазухина” мы знаем род занятий всех действующих лиц, кроме “премудрого” мещанина, о котором известно только, что он мещанин, причем пожилой. Никола Велегласный, как и Устинька, также выполняет функцию просветителя, правда, просвещение, транслирующееся через него, специфическое, старообрядческое: он вещает собравшимся купчихам пророчества о конце света, а также разбирает пищевые продукты на предмет допустимости их с точки зрения религии. Это тоже своеобразная образованность. Устинька у Островского, Велегласный у Салтыкова-Щедрина — это как бы каналы, через которые различные отвлеченные сведения транслируются в среду купечества из источников их зарождения.

Впоследствии мещане начали транслировать эту эклектичную образованность и на другие сословия: в комедии В. Маяковского “Клоп” есть Олег Баян — дореволюционный мещанин, бывший домовладелец, который выполняет роль духовного учителя для пролетария Присыпкина: учит его осколкам старорежимных манер, объясняет, как носить галстук и как ухаживать за женщинами.

Совершенно чудовищным образцом “догоняющей” мещанской образованности является старый мещанин Павлин Головастиков из драмы Горького “Варвары”, его даже называют “Соломон премудрый”. Его положение в списке действующих лиц такое же странное, как и у Николы Велегласного в “Смерти Пазухина”. Остальные персонажи пьесы определяются по профессиям и должностям, но о Павлине сказано только, что “это мещанин” — и более ничего. Тем не менее персонаж этот и странный, и даже страшноватый, окружающие его слегка побаиваются. Павлина в “Варварах” можно считать карикатурным двойником идеализированного мещанина Кулигина в “Грозе” Островского. Оба эти мещанина — Павлин и Кулигин — являются “отстраненными наблюдателями” окружающих нравов, оба они с проницательностью философов выносят суждения о происходящем вокруг, но только Павлин не просто наблюдает, а еще шпионит и пишет доносы. Наконец, оба эти “самородка” обогащены бесполезной гениальностью дилетантов: Кулигин многие годы изобретает “вечный двигатель”, таланты Павлина проявляются не в технической, а в гуманитарной сфере, он многие годы пишет трактат о недопустимости замены старых слов новыми, например: “ябеды” — “корреспонденцией”. “Консервативная” тема написанного Павлином трактата так же, как и антисемитизм Бессеменова из “Мещан”, должна продемонстрировать особенность “самодельной”, а следовательно, “догоняющей” мещанской образованности. Впрочем, несмотря на бесполезность своего трактата, Павлин, как и Кулигин, — самородок, он явно читал больше, чем другие жители города; он, например, поправляет в разговоре местного городского голову, объясняя, что правильно говорить не “фармазон”, а “франк-масон”.

V

Культурное превосходство мещанина над купцом объяснить можно, по-видимому, исключительно тем, что мещанин — это хотя и небогатый, но потомственный городской житель, а купец — выходец из сельских слоев. Хотя, конечно, с точки зрения “европейца”, образованность у мещанина своеобразная. “Образованный” мещанин, как он изображен в русской драматургии, — либо самоучка, либо “коллекционер предрассудков”, либо носитель устаревших представлений, устаревших с точки зрения легитимно-образованных людей этой эпохи. На образованности самого идеального из изображенных в русской драматургии мещан — Кулигина из “Грозы” — лежит ясная печать анахронизма. Он пытается внедрить в своем городе солнечные часы, громоотвод — изобретение XVIII века, сочиняет стихи в стиле Ломоносова и Державина и рассказывает о нравах города в стиле средневековых нравоучительных повестей. Образованность приходит к мещанам очень длинным, кружным путем, по дороге искажаясь, примитивизируясь и перемешиваясь с элементами архаичных представлений.

Потомственные городские, но необразованные жители обладают способностью, с одной стороны, подражать образованным слоям, а с другой — никогда не достигать подлинного успеха в этом подражании. Именно эта культурная двойственность вызывала крайне резкие инвективы в адрес мещанства у сверхаристократичного Набокова, который ставит в вину мещанству именно промежуточность культурно-социальной позиции. Говоря о биографии самого Горького, Набоков отмечает, что в молодости тот жил “в среде хуже некуда — то есть мещанской, занимавшей промежуточное положение между крестьянством и нижней ступенью среднебуржуазного класса. Утратив прочную связь с землей, этот класс людей не приобрел взамен ничего, что могло бы заполнить образовавшуюся пустоту, и перенял худшие пороки среднего слоя без искупающих их добродетелей”. Склонный к снобизму Набоков видит главную вину мещанства в претензии на настоящую образованность. В статье “Пошляки и пошлость” он отождествляет понятия “мещанство” и “пошлость”, — но вовсе не потому, что для него это действительно одно и то же, а потому, что вкусы мещанства пошлы, мещанство есть социальная сторона пошлости, так же как пошлость есть культурная сторона мещанства. По сути же, пошлость (= мещанство) есть неудачная попытка простого человека изобразить образованного и приспособить под свои вкусы достижения культуры. “Я утверждаю, — пишет Набоков, — что простой, нетронутый цивилизацией человек не бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. Чтобы превратиться в пошляка, крестьянину нужно перебраться в город. Крашеный галстук должен прикрывать мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрытая пошлость”.

Если изображенное Островским купечество воспринималось современниками как стихия, противостоящая образованию, то мещанство — как неудачная попытка подражания образованию, как “засоренный” канал трансляции образования в купеческую среду. Тем не менее мещанство уже обладает тем уважением к образованию, которое позволяет выходцам из мещанской среды легко и без сопутствующих инцидентов перейти в число образованных людей при появлении для этого материальных возможностей.